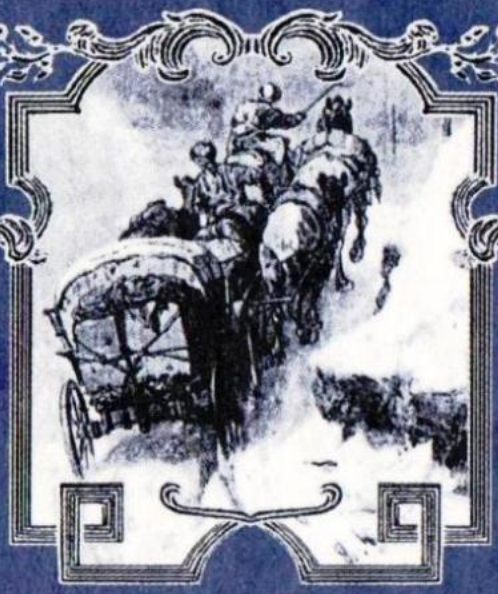
Ор. 84
Д-15



Владимир Иванович Даль

ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ



УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Пришло жаркое, знойное лето, которое длится в полуденных степях наших равно четыре месяца: май, июнь, июль и август, — пришло и налегло душным маревом на уральскую степь, чтобы поверстаться за суровую пятимесячную зиму. Уральское войско, вытянутое станицами своими лентой по течению реки Урала верст на восемьсот, ожило после кратковременного отдыха; по городкам, форпостам и крепостям стали бегать и суетиться, словно земля под народом накалилась и не дает никому ни стать, ни сесть. Вскоре все войско стянулось повыше Бударинского; тысячи три служилого народа, — а тысяч шесть было уже на службе: три по линии да три на внешней, — тысячи три, не считая работников, столпились на голой, бесплодной степи, на сухом море, привезли на подводах каждый бударку* свою, ярыги или сети, привезли по работнику киргизскому в мохнатом лисьем малахае — видно, собрались пугать лето, — стали на первом плавенном рубеже и ждут пушки**. А где же Проклятов, лысый гурьевский казак, который век на службе, а от уряду бегает, потому что беден, а семья у него большая? Тут он,

* Долбленый челнок, тонко и красиво обделанный, легкий и ходкий. Он употребляется на всех летних речных рыболовствах.

** До пушки, которая палит по условному знаку рыболовного атамана, никто не смеет ступить на лед или спустить бударку на воду; все кидаются вдруг и взапуски по вестовой пушке.

глядите, стоит в толпе под яром, без шапки; лысина от бровей до затылка, прикусив губу, уставив зоркие глаза на рыболовного атамана, который один-одним разъезжает, ровно князь какой, по реке; на него уставил глаза Проклятов, как легавый на куст, под которым сидит куропатка; в правой руке держит коротенькое весло, левою ухватился за тонко выстроганный и окованный нос бударки, ждет по знаку атаманскому пушки, чтобы секунды одной не прозевать, столкнуть челнок на воду, выкинуть ярыгу и вытащить осетра. С Проклятова пот льет градом только еще в ожидании будущих благ; а что же будет, как пойдет работа?

Век на службе Проклятов, редкий год дома, а от урядничьего чина три раза отмаливался: хочет быть рядовым казаком. Урядник идет, куда пошлют, по очереди, наемки не берет ни гроша, а казак возьмет с миру почем придется, да и сам сыт и обут и домашние тож: потому-то он от уряду бегает, а от зверя, как он называет рыбу, не бегает, лишь бы она от него не ушла. Не любит он только этих водяных сверчков, что у нас раками зовутся: он их, поганых, и в руки не возьмет ни за что.

Проклятов — гурьевский казак старинного закалу: ростом невелик, плотен, широк в плечах, навертывает и в тридцать градусов морозу на ноги для легкости по одной портянке, надевает в зимние степные походы кожаные либо холщовые шаровары на гашнике, и если буран очень резок, то, сидя верхом, прикрывает ляжку с наветренной стороны полою полушубка. Морозу он не боится, потому что мороз крепит; да и овод, и муха, и комар не обижают у него коня; жару не боится потому, что пар костей не ломит; воды, сырости, дождя не боится потому, как говорит, что сызмала в мокрой работе, по рыбному промыслу, что Урал — золотое дно, серебряна покрышка, кормит и одевает его, стало быть на воду сердиться грех: это дар божий, тот же хлеб. Проклятов до того любит воду — коли нет вина, — что на морском рыболовстве и на морской службе по Каспийскому морю пьет без всяких околичностей воду морскую и отвечает вам на вопрос: «Хороша

ли?» — «Горонит маленько!» Борода ему дороже головы; в этом отношении Проклятов сущий турок; но, отправляя сына на внешнюю службу, в Москву, он выбрил ему бороду, приказав отпустить ее, когда воротится домой, и утешив и себя и сына в этом несчастии тем, что-де родительницы замолят грех. Дома Проклятов не певал отроду песни, не сказывал сказки, не пел, не плясал, не скоморошничал никогда; о трубке и говорить нечего: он дома ненавидел ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ее таки в заводе ни у кого в целом войске. Сказывали, что есть чиновники войсковые, которые, в похвальбу перед сторонним начальством, носили тайком от своих в руке табакерочку; да это, может статься, и напраслина, как ее много бывает на свете. На походе — Проклятов первый песенник, хоть и гнусит немного на старинный церковный лад; первый плясун, и балалайка явится на третьем переходе, словно из земли вырастет, — и явится трубка и табак; а родительницы дома на досуге отмаливают и замаливают. Родительницами называет он не только старуху-мать свою, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женский пол. Они все знают церковную грамоту, служат сами по старопечатным книгам, хозяйничают из покупного добра, — потому что своего, кроме рыбы и скота, нет ничего, ниже хлеба, — ткут шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой пуговицей, а рубахи — с шелковыми рукавами; вяжут понемногу чулки — другой работы у них нет. Главное занятие их: воспитывать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изуверства, которое, как мы видели, соблюдаясь с неприкосновенною святостию на дому, нарушается без всякого стеснения на службе и вообще вне войсковых пределов. Описывая, какую погоду любит и не любит старик Проклятов, мы забыли упомянуть, собственно, о буране, о зимней метели, от которой ежегодно гибнет множество людей и скота. Ее Проклятов не жалует; это крутит сатана, бунтует против святой власти, и от этого буран — погода из ряду вон и не годится никуда. «Тут и скотина одуреет, — говорит Проклятов,— не токма что человек».

Пришла осень — старик опять идет с целым войском, ровно на войну, на рыболовство. На тесной и быстрой реке столпятся от рубежа до рубежа тысячи бударок — тут булавке упасть негде, не только сети выкинуть; а Проклятов, как и все другие, плавает связками, попарно, вытаскивает рыбу, чекушит ее и сваливает в бударку; саратовские и московские промышленники следят берегом плавучую толпу рыбаков и держат деньги наготове; к вечеру разделка. Тут, кажется, все друг друга передушат, передавят и вечера не доживут: крик, шум, брань, стук, толкотня на воде, как в самой жаркой рукопашной свалке; давят и душат друг друга, бударки трещат, казаки, стоя в них и управляя ими, раскачиваются в обе стороны, чуть носом воды не достают — вот все потонут, все друг друга замнут и затопят, — ничего не бывало: все разойдутся живы-здоровы, чтобы завтрашний день начать со следующего рубежа, опять по пушке, ту же проделку; и так вплоть до Гурьева, до взморья или по крайней мере до низовых станиц. Проклятов гребет, рвется, из шкуры лезет, летит взапуски, гребет сильно коротеньким весельцем своим, им же правит, им же расчищает себе дорогу в этом непроходимом лесу бударок, расталкивает их вправо и влево, не заботясь о том, куда которая летит, — и ярыгу вытаскивает, и рыбу чекушит; и его толкают взад, и вбок, и вперед, — нужды нет, он только кричит и бранится, и, зная уже, что никто его не слышит и не слушает, потому что всякий занят своим, он и сам продолжает свое, облегчая только стесненное положение свое бранью, навей ветер. Впрочем, никогда не употребляет он коренных русских ругательств; и это также можно делать только в командировках и в походах: дома грешно.

Пришла зима — Урал замерз, снежное море покрыло необозримую степь; голодные и холодные киргизы сидят смирно и спокойно на зимовках: не до того им, чтобы прорываться по ночам тут или там и угонять стада и табуны,— все замерзло; а Проклятов опять снаряжается на рыболовство, на багренье. Опять он тут, под самым Уральском, где в сборе целое войско, опять мечется по пушке как угорелый, зря, очертя голову, с яру

на лед, на людей, топчет, давит, не щадя ни себя, ни других, — просекает наваренною сталью пешней в три маха двенадцативершковый лед, опускает шестисаженный багор, коего другой конец, перегибаясь чрез плечо, волочится по льду, поддевает рыбу, подхватывает ее подбагренником, кричит, как будто кто его режет: «Ой, братцы, помогите!» — коли сила не берет управиться одному с белугой, кричит неумолчно, хоть и знает, что ему никто не пособит, как и сам он никому не подаст помощи за недосугом, — а кричит; вытаскивает ее наконец кой-как сам на лед, упарившись зимой в одной рубахе до мокрого поту, — и, окунувшись раза три по шею в воду, выбирается с добычей своей на сухой берег. Окунулся он потому, что тысячи рыболовов, кинувшихся на лед, на одну зазнамо хорошую ятовь*, искрошили в четверть часа весь лед под собою, вытаскивая на всех точках рыбу, и вскрыли всю реку. Проклятов выгородил себе кой-как небольшой комок льду, отстоял его, удержался на нем, сложив тут же три-четыре рыбки, рублей на сто или побольше, и, упираясь багром, который гнется как веревка, и захватив пешню своими ногами, а подбагренник в зубы, переправился на этом пароме благополучно на берег, сдал тут же товар и взял деньги. Льдина переворачивалась под ним раза три, да Проклятов на нее и не глядел: он только берег рыбу свою, привязав ее к ноге обрывком или поясом, да снаряд.

Пришла весна — лед тронулся, река вздулась, разлилась; утки, гуси, казарки потянулись огромными вереницами вслед за журавлями на север — и Проклятов опять уже ладит бударку, снаряжает плавенные сети и тянется без малого четыреста верст сухим путем вверх по реке, чтобы после воротиться вниз, домой, водою. Спросите у него, когда он, прищурив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую стаю лебедей: «Неужто-де птица летит своим разумом— в указанный ею перелет?» И он вам, не призадумавшись, ответит: «У зверя не разум, а побуд-

* Ятовь— омут, в который ложится красная рыба на зимовку. Она ложится тесно, в несколько ярусов, и спит, шум и стук ее в то время не пугает, и ее просто ощупывают, баграми вытаскивают.

ка; птица в перелет идет побудкой». Итак, побуждение природы, которое мы, не зная по-русски, взяли из словаря иностранного и назвали инстинктом, слово, впрочем, очень приятное, — Маркиан Проклятов, не зная ни по-французски, ни по-немецки, называет побудкой. Ему это простительно.

Проездом Проклятов у каждого форпоста расспрашивает обстоятельно стариков, то есть смотрителей за водами и лесами, о том, «благополучно ли рыба с осени ложилась, где и как вскатывалась и каков надежен залов». Где дорога подходит к береговому яру, там Проклятов оборачивается туда, куда его тянет, носом на воду; жадно глядит на Урал и по временам как будто прислушивается и облизывается. Если вам случалось видеть неистовых голубятников, псовых и ружейных охотников, которые выходят из себя, если при них только помянуть слово об охоте, то можете вообразить себе и Проклятова. Серые глаза его загораются каждый раз, когда дело коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играют, высокий лоб сияет, губы подбираются. У Проклятова не дрогнула бы рука приколоть всякого, не говоря о киргизах на левом берегу, — приколоть на месте во время ходу рыбы всякого, кто осмелился бы напоить скот из Урала, «Рыба — тот же зверь, — говорит старик с ожесточением, — шуму и людей боится; уйдет, а там ищи ее». Впрочем, казак наш сражался на своем веку не с одним этим зверем, с красной рыбой; он, не говоря о походах туда-сюда и о всегдашней войне с кайсаками, уходил немалое число кабанов, когда молод был, в гурьевских камышах, а когда их там уже не стало, то на Прорве и на устье Эмбы. Кабан подсек даже под ним однажды коня. Одно из замечательнейших происшествий в жизни Проклятова было с ним по поводу охоты за кабанами, а именно: встреча глаз на глаз с шутовкою, или русалкою. Маркиан, вопреки закону, отправился однажды накануне какого-то праздника, в светлую лунную ночь, на ночевье и, отъехав к устью через Золотницкий проран на бударке своей верст пятнадцать от Гурьева, залег в мертвой глуши и тиши близ

проломанной кабаном тропы. Вскоре послышался отдаленный шелест, потом камыш затрещал. «Ломится зверь», — подумал Проклятов и взвел курок винтовки. Но зверь не показывается, а треск камыша, приближаясь постепенно со всех сторон, вдруг до того усилился, что у Маркиана на голове волос поднялся дыбом; не видать ничего, а камыш трещит, валится и ломится кругом, будто огромный табун мчится по нем напролет. Проклятов привстал, отступил несколько шагов к убежищу своему, к бударке, а на возвышенном бугре стоит перед ним шутовка, нагая, с распущенными волосами. «Сколько припомню, — говорил старик, — она была моложава и одной рукой как будто манила к себе». Сотворив крест и молитву, Маркиан стал отступать от нее задом, добрался до бударки, присел на колена и, ухватив весло, ударился, сколько сил было, домой.

Проклятова знали все как человека добродушного, который, несмотря на бедность свою, помогал многим, кто бывал в нужде или еще беднее его. Он жалел убить старого пса, который жил у него годов десять и под старость сделался калекой. «Пусть живет нахлебником,— говаривал старик, — не обидит нас, не объест». Но когда ему случилось сходить в зимний степной поиск, на Бузачи, то он, отбивши там пару навьюченных верблюдов и заметив, что во вьюках что-то жалобно пищало, не призадумавшись, выкинул двух голых ребятишек на снег и спокойно, без оглядки отправился своим путем. «Ничего, ваше благородие, — отвечал он после офицеру, который хотел было для порядку побранить его, — ничего, уснули. Мамок, что ли, с собою возить для этих щенят, — про себя сказал он рассмеявшись. — Еще у меня и свои-то, может статься, сидят дома не евши; ныне хлеб рубль семь гривен за пуд».

В походе не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод. «Обтерпелся, — говаривал он, — да сызмаленьку привык; только лошади жаль, коли без корму стоит, а человеку ничего не станется». Из всего оружия казачьего Проклятов менее всего жаловал саблю, называя ее темляком, который-де болтается без

пользы. Винтовка на рожках, из которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле, и пика, которою работал, прихватывая по временам, где можно, гривки, — вот вся его надежда. В открытую конную атаку он не хаживал: «Не случилось, говорит, да нашему брату ломовая атака и несподручна»; криком и гиком брал, врасплох брал, и с тылу, и в засаде; а подметив, где жидко, где проскочить и прорваться можно, — не жалея коня, гнал и бил неприятеля донельзя и не щадил никого. «Коли бежит неприятель, — говаривал Проклятов, — так разве в землю от тебя уйдет, а то покидать его нельзя; гони со свету долой, покуда бежит да не оглянется и не увидит, что ты за ним один. И бей тоже, покуда бежит: опомнится да станет, так, того гляди, упрется — и вся работа твоя пропала». Старик любил винтовку свою на рожках и привык к ней; стрелял смолоду гусей, лебедей, уток, сайгаков, корсуков, кабанов — все пулькой; но форменным карабином он очень обижался, на это у него были свои понятия и рассуждения. Лошадь выезжал он всякую в две-три недели, не заботясь о том, бьет ли она только задом или с козла; подпруг и катаура никогда туго не подтягивал, а считал плеть-нагайку лучшим самоучителем, без которой наука ни одному неучу не дается. Подпрукает, подойдет, погладит, ухватит за уши, даст подержать сыну либо племяннику, накинет седло, сядет — а там дело уже поневоле пойдет своим чередом; сколько бы ни носила лошадь, сколько бы ни била, когда-нибудь да уходится и присмиреет. В упряжку выездить иную, особенно киргизскую, помудренее, да и то ничего. Сперва боком, за один гуж, вертись и вези как знаешь; а там, как обойдется маленько, с постромки да в оглобли. Плеть — первая наука.

Не только на коне и на пресной воде, но и на море Проклятов был как у себя дома. Сызмаленьку привык, дело домашнее. Он хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах, не только из Гурьева в Астрахань, но и к Колпинскому кряжу и дальше. Поблизости, в своих водах, бывал Проклятов на морском Куркайском рыболовстве, в одной артели с другими, потому что одному собраться тяжело, а на Тюк-караган, Мангишлак и в Кайдак хаживал по службе. В старые годы пускался он, бывало, и в

открытое море на бударке своей, на крошечном долбленом челноке, за лебедями, промышлял перьями и шкурками и пухом; ныне промысл этот, как слишком опасный, давно уже запрещен. Проклятов знал не хуже штурмана зюйд-вест и норд-ост, фок, грот-брам, топ, как там у них называют топсель, знал шкот, и галс, и фал, хоть и называл обыкновенно последний подъемною снастью. Проклятов был, сам того не подозревая, отчаянный моряк; лавировал и боролся мастерски с бурей и волнами, как с своим братом; и это делал он также оттого, как объяснялся, что «привык так с молодых лет, что море у них — дело соседнее, под рукой». Бывал он и в относе на аханном рыболовстве*, и таскало его на льдине по морю недели по две; а между тем льдина все крошилась да крошилась от волн и бури, и Проклятов видел день за днем и час за часом мокрую и холодную смерть под собою. Но господь миловал, казака приносило опять моряной к берегу. Тогда казак наш, бывало, тужит только о том, что снасти пропали и собраться бедняку опять не с чем. Впрочем, если бы и не вынесло его на льдине, так казаку и на санях ину пору из моря выехать удается, да не по льду, которого уже нет, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло, а таки просто на санях по воде, по волнам: так по крайней мере поправился недавно, на нашей памяти, товарищ Проклятова, казак Дервянов, которого таскало несколько недель в относе. Когда лошадь в крайнем положении этом была уже съедена, то Дервянов, как человек догадливый и запасливый, снявши с нее шкуру, бурдюком или дудкой, то есть целиком, завязал ее на взрезах, подвел под сани, надул, привязал, из оглобель сделал весла, из кафтана — парус, не знаю грот ли, фок ли или брам-топ, и добился на корабле этом благополучно до встречной рыбопромышленной посуды, вышедшей из Астрахани.

* На аханное рыболовство выезжают на санях по льду морскому. При моряне лед взламывает и спирает; казаки говорят тогда: шиханы ставить. Если сделается после этого верховой ветер, то рыбаков уносит на огромных плавучих льдинах в открытое море. Это называется быть в относе.

Наловил Проклятов много красной рыбы на веку своем; много икры наделал и много отправил этого товару, продав на месте торговцам, в Москву и в Питер; была рыба его и за царской трапезой, когда случалось ему попадать на царское багренье, с которого отправляют, по древнему обычаю, ежегодно на почтовых тройках царский кус, или так называемый презент; но сам Проклятов по целым годам и не отведывал ни осетра, ни белуги, ни шипа, ни севрюги; товар этот дорог, «не по рылу», как выражался старик. Он объедался красной рыбы только в лето после бузачинского походу, когда был в гурьевской морской сотне за приказного и ходил есаулом стеречь войсковые воды, чтобы астраханцы не обижали; тогда было у них рыбы вдоволь, и хоть продавать ее не продавали, потому что за это строго взыскивается, а сами ели вволю. Дома варила хозяйка Проклятова по временам, когда лов разрешался, черную рыбу, а не то баранов резали, ели каймак,* а как посты все соблюдались во всей строгости, так и приходилось в году месяцев шесть хлебать постную кашицу да пустые щи. На поход снабжала хозяйка своего казака кокурками,** сколько можно было подвязать их в торока.

Проклятов, как человек бывалый и обтертый, хоть и не решился бы есть из одной посуды с киргизом или калмыком, «с собачьей верой», но нашего брата не совсем чуждался, а признавал человеком, таки разве мало чем хуже себя. Поэтому он готов был есть с нами из одной чашки, пить из одного ковша и не брезгал бы этим не только в походе, где все разрешается, но даже и дома; но хозяйка его была на этот счет других мыслей и старинных правил: за хлеб-соль она ни с кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачьей веры татарина и нашего брата — бри-

*Каймак — упаренное до густоты молоко со сливками и густыми пенками.

**Кокурка — пшеничный хлебец, в котором запечено яйцо. Оно держится таким образом очень долго.

тоусца можно кормить из одной общей посуды. Старик в этом не смел больно с нею спорить, а то бы она ему самому, как поганому, поставила щец на особицу, в черепке, как делывала каждый раз, когда муж приходил из походу, покуда не принял еще от своих очистительную молитву. Раз как-то Проклятов поставил для дорогого гостя, которого никак не хотел обидеть, самовар и подал чайник и чашки; хозяйки в ту пору не случилось дома, зато после он насилу кой-как успокоил старуху, и ухаживал за нею, и упрашивал долго ее. Но и тут она, не бравши, как сказал я, ни за что на свете платы за хлеб-соль, вытребовала с проезжего без всяких обиняков гривенник на очистительную для посуды молитву; не взяла его, однако же, сама, чтобы не сочли этого платой, а просила отправить чашки и гривенник с посторонним человеком к старой девке, которая заведовала этим делом и очистила опоганенную посуду! Хлопот за этим было много: этого нельзя был сделать дома, а носили посуду на реку, сполоснули ее и прочли молитву.

Сыновья Проклятова были ребята нынешнего складу: высокие, стройные и крепкие, как отец. Молодой народ на Урале чуть ли не рослее старого и, что бог даст вперед, не изводится, а крепок и дюж. Как растут они, так рос в свое время и отец, так росли в свое время деды и прадеды их: отмены нет никакой. Проклятов с десяти годов пас табуны, ездил с отцом на рыболовство и, выставив на санях или телеге значок, какую-нибудь тряпицу, шапку либо сапог, ехал берегом в тысячной толпе саней и лошадей, провожал управлявшегося на воде отца и зевал, то есть кричал, в продолжение целых суток во всю глотку. Без этого рыбак в суматохе толпы не нашел бы вечером, пристав к стану, повозки своей, а потому каждый с воды и с берегу дают друг другу голос, *зевают* и ровняются. Тут наострishь поневоле и глаза и ухо. Поэтому Проклятов и видел серыми глазами своими ясно и чисто там, где наш брат не видал ничего, кроме неба и земли; а где Проклятов, поглядевши, скажет, бывало: «Чуть мельтешит что-то», там без хорошей подзорной трубы и не думай разгадать задачу. Он привык и на море верно

мерить расстояние *закроями** и, *завесив черни*, то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что берег был уже под кругозором и его нельзя было увидеть ни в какую трубу и стекла.

Грамоте Проклятов не выучился за недосугом: век на службе и в работе. Ему грамота и не нужна; это дело родительниц, которые должны замаливать вольные и невольные грехи мужей, отцов, сыновей и братьев. Родительницы сидят себе дома, им делать нечего, как сохранять и соблюдать все обычаи исконные и заботиться, по своим понятиям, о благе духовном! Пусть же отмаливают за казаков, на которых лежат заботы о благе насущном, промыслы и служба.

Скот ходит у казаков уральских на подножном корму зиму и лето, круглый год, пастухи и табунщики за ним в ведро и в ненастье, в метель, дождь, зной и стужу. Пастух и табунщик выгоняют скот свой на Урале не с рожком и со свирелкой, как в других местах, а с винтовкой за плечом, с копьем в руках и всегда верхом. Там из станицы в станицу редко кто поедет без оружия, и казак-ямщик садится к вам на козлы с ружьем и в подсумке с боевыми патронами. Итак, не мудрено, что Проклятов привык к винтовке сызмала, с двенадцати годов; в опасном месте всегда, не говоря ни слова и не дожидаясь приказания, вынет, бывало, тряпицу из-под курка, осмотрит полку, прикроет ее огнивом и поставит курок на первый взвод. Подъезжая к станице, он бережно опять закладывает полку мячиком или клочком овчинки, спускает на нее курок в упор, а потом еще пробует, не сыплется ль порох с полки, подбирая с руки бережно каждое зернышко.

Случалось Проклятову и голодать по целым суткам, и к этому привык он смолоду. Летом сносил он голод молча, зимой покрякивал и повертывался; летом жевал от жажды свинцовую пульку или жеребеек: это холодит; зимой закусывал

---

* *Закрой* — расстояние, на котором судно в море скрывается под кругозором. Это верст двенадцать.

снежком. Солодковый корень, челим*, лебеда, яйца мартышек, даже земляной хлеб** и разные другие съедомые снадобья пропитывали его в беде по нескольку суток сряду. Там приходила опять пора, и Проклятов отъедался за прошедшее и за будущее. И добро и худо, и нужда и довольство живут голмянами, как выражался казак наш, то есть порою, временем, полосою. Но конины и верблюжины Проклятов не стал бы есть ни за что; скорее, говорит, издохну, а такого греха на душу не возьму.

Проклятов ходил под гладкой круглой стрижкой, как все староверы наши, то есть не под русской, не в скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругом. Отправляясь с полками на внешнюю службу, стригся он по-казачьи, или под айдар. На Урале ходил он постоянно в хивинском стеганом полосатом халате и подпоясывался киргизской калтой — кожаным ремнем с карманом и с ножом; по праздникам щеголял в черной бархатной куртке или крутке, как он ее называл, может быть, правильнее нашего. Зимой на нем была высокая черная смушковая шапка, летом — синяя фуражка с голубым околышем и с козырьком. Сверх рубахи он всегда опоясывался плетеным узеньким поясом — обстоятельство в глазах его большой важности, потому что в рубахе без опояски ходят одни татары. И ребятишек маленьких хозяйка Проклятова тщательно всегда подпоясывала и била их больно, если который из них распоясывался или терял поясок: по опояске этой и на том свете отличают ребят от некрещеных татарчат, и когда, в прогулке по вертоградам небесным, разрешается им собирать виноградные грозды, то у них есть куда их складывать — за пазуху; татарчатам же, напротив, винограду собирать некуда.

---

* Водяные орехи, которые вытаскиваются со дна озер рогожами.

** Замечательный лишай Усть-Урта. Он растет, катаясь свободно по земле, по камню, без всякой связи с почвой. В нем есть некоторое сходство, судя по питательным качествам, с исландским мохом, и в голодные годы его едят. Вкус дурной, иловатый.

Проклятов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил «ей-ей» и «ни-ни»; никогда не говорил «спасибо», а «спаси тя Христос»; входя в избу, останавливался на пороге и говорил: «Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас!» — и выжидал ответного: «Аминь». В часовню ходил он не иначе, как в халате нараспашку и с пояском поверх рубахи. Но, принимая кровное участие в родном и общем деле, он дал обет помолиться усердно в православной церкви, если утвердят наконец окончательно за войском сенокосы на левом берегу Урала, Камыш-Самару с узенями и обеспечат угрожаемые нашествием астраханцев войсковые морские воды.

Так вырос, так жил и так состарился Проклятов, по крайней мере стал седеть, хотя ему было не с большим пятьдесят лет, потому что написан из малолетних в казаки по восемнадцатому году, дослуживал ныне тридцать четвертый год службы и, надеясь на милость начальства, собирался в отставные.

Он был много лет *линейным*, вышел потом и в градские казаки, там опять попал в линейные, в морскую сотню. В *гражданские*, или *городовые*[*], он идти сам не хотел, покуда силы есть и деньги нужны; но теперь уже поговаривал: «Пора уважить старику, послужил государю своему довольно и поставил за себя двух казаков, Вакха и Евпла». Сыновья его получили малоизвестные имена эти по заведенному на Урале порядку, родившись за седьмицу до дня празднования церковью памяти сих святых. От этого обычая там не отступают, и Уральское войско представляет в этом отношении полные церковные, дониконовские святцы. Спросите любого уральского казака, как его зовут, и вы редко услышите

[*] Градскими казаками называются все служилые казаки, выставляющие от себя требуемые полки и команды на службу; линейными — те, которые по наемке или по мирским подможным деньгам, получаемым с градских, ежегодно охраняют линии; гражданскими казаки называют особое отделение малоспособных и дряхлых служилых казаков, выставляющих людей только в городовые команды и вообще на службу внутреннюю.

употребительное между нами имя. Но если хотите знать прозвание казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: *«чей ты?»* или *«чьи вы?»* или даже, пожалуй: «чей ты прозываешься?» На вопрос: «чей?» — казак ответит: «Карпов, Донсков, Харчов, Гаврилов, Мальгин, Казаргин», и вы из окончания видите, что это прямой ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете: «чей?» — то есть из какой, из чьей семьи. Он отвечает: «Донского» или сокращенно: «Донсков», «Мальгина» или «Мальгин» и прочее. В Сибири спрашивают вместо этого: «чьих вы?» И от этого вопроса произошли прозвания: Кривых, Нагих, Ильиных и прочих.

Надобно вам еще сказать, что Маркиана Проклятова, как и всех земляков его, можно узнать по говору; он только слово вымолвит, и сказать ему положительно: «Ты уральский казак». Так же легко узнать по говору хозяйку его, Харитину, и дочерей, Минодору и Гликерию, хотя в говоре, в произношении казаков и родительниц их нет ничего общего. Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую согласную букву, налегает на *р*, на *с*, на *т*; гласные буквы, напротив, скрадывает: вы не услышите у него ни чистого *а*, ни *о*, ни *у*. Родительницы, напротив, живучи особняком в тесном кругу своем, вечно дома, все без изъятия перенимают друг у друга шепелявить и произносить букву *л* мягче обыкновенного. Они ходят гулять и веселиться на *синцик* в *сёльковой субенке*, а синчик называется у них первоосенний лед, до пороши, по которому можно скользить в нарядных башмачках и выставлять вперед ножку, кричать, шуметь и хохотать. Последнее, по строгому чину домашнего воспитания, им редко удается. Упомянем здесь еще, возвращаясь к семейству Маркиана, что старшую дочь свою, Ксению, старик отдал уже замуж, а приданого не дал, по тамошнему обычаю, ни гроша; об этом и речи не бывает: жених, напротив, должен по уговору справить невесте *сороку*, головной женский убор, заменяющий со времени замужества, в праздничные дни, девичью *поднизь*. Есть сороки на Урале в десять и пятнадцать тысяч. Там девки все бес-

приданницы, и обычай этот, конечно, ведется с тех пор, как их было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много.

Итак, Маркиан Проклятов дослуживал тридцать четвертый год службы и глядел, хоть еще и крепок был, в отставные, да не выпускали, велели послужить еще с год, а там обещали начать забирать справки. Между тем потребовали с Уралу полк в турецкую войну. Вышел на базарную площадь в Уральске экзекутор войсковой канцелярии, — прежде делывал это войсковой есаул, — прочитал вслух казакам, которые собрались в кружок и слушали, сняв шапки, что: «велено-де поставить полк к такому-то числу, приходится пяти служивым казакам поставить одного; сборное место — город Уральск». Прочел и пошел домой, только и забот войсковому начальству, а полк к сроку будет.

Заложилась наемка, как говорят казаки, или установилась цена, подможных мирских денег по восемьсот рублей. Проклятову негде взять двухсот рублей на свою долю, надо идти служить самому. Дай пойду, говорит, возьму еще раз деньжонки, авось в последний сам соберусь и своих наделю и послужу напоследях великому государю.

Пошел, запел опять песни, обзавелся трубкой, добыл на поход чубарого коня, оба уха и ноздри пороты и редкой прыти. Полк пробыл два года в Турции, тут еще позадержали в Польше с лишком год, наконец спустили; пошли домой на Урал. Выбыло из полка, однако же, человек полтораста.

Большой был праздник в Уральске, когда вступил туда с песнями 4-й полк. Родительницы выехали навстречу из всех низовых станиц, усеяли всю дорогу от города верст на десять; вынесли узелки, узелочки, мешочки, стклянницы, штофчики, сулейки: все, вишь, жалеючи своих, думают — голодные придут, так напоить и покормить. Стоит старуха в синем кумачном сарафане, повязанная черным китайчатым платком, держит в руках узелок и бутылочку, кланяется низехонько, спрашивает: «Проклятов, родные мои, где Маркиан?» — не слыхать голосу ее из-за песенников, подходит она ближе, достает рукой каза-

ка: «Где Проклятов?» — «Сзади, матушка, сзади». Идет вторая сотня, спрашивает старуха: «Где же Маркиан Елисеевич Проклятов, спаси вас Христос и помилуй, где Проклятов?» — «Сзади», — говорят. Идет третья сотня — тот же привет, тот же ответ. Идет и последняя сотня, прошел и последний взвод последней сотни, а все казаки говорят ей, кивнув головою назад: «Сзади, матушка, сзади». Когда прошел и обоз и все отвечали «сзади», то Харитина догадалась и поняла, в чем дело, — ударилась обземь и завопила страшным голосом. Казаки увели ее домой, а Маркиана своего она уже более не видала.